



ШТУДИИ



**Ася Пекуровская.** Непредсказуемый Бродский.  
Фрагмент из новой книги

Ася Пекуровская

## НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ БРОДСКИЙ

Фрагмент из новой книги

### ГЛАВА 1. EIDOLON, ИДОЛ И ДВОЙНИК.

Если бы мне было предложено написать эпитафию ушедшему поэту, Иосифу Бродскому, чего не произошло, я бы написала примерно так:

«Здесь покоится прах поэта, который родился в России, умер в Америке, был похоронен в Италии, получил Нобелевскую премию в Швеции, писал прозу на чужом языке, корни этики искал в эстетике, всего усерднее старался не быть похожим на других и выше всего ценил *непредсказуемость*».

А когда слова мои были бы выбиты на медной пластине, я бы добавила, совсем шепотом: родился в России, а хотел родиться в другом месте. «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом», — мог бы написать он вслед за Пушкиным. Но написал он иначе, следуя не Пушкину, а Ахматовой. «Меня, как реку, / суровая эпоха повернула, / мне подменили жизнь», — писала она. «Мне подменили жизнь: первые тридцать с лишним лет жил в отрыве от мировой культуры», — вторил ей Бродский. С осознанием этой роковой подмены, вероятно, пришло и томление по мировой культуре и, возможно, желание писать на чужом языке.

Но тогда Нобелевская премия досталась бы Паустовскому.

Мне скажут, на чужом языке писали еще Конрад, учитель Джойса и Пруста, и, конечно же, Набоков. Оба были великими прозаиками, каким Бродский никогда не был. Но премия все же досталась Бродскому. Почему? В эссе под названием «Угодить тени» Бродский объяснил дело так: Конрад писал по-английски «по необходимости», Набоков — «из-за жгучих амбиций», а я...

«Моей единственной целью было, и остается, оказаться как можно ближе к человеку, которого я считал величайшим умом двадцатого века: Вистану Хью Одену». Но заслуживает ли доверия эта декларация? Ведь Набоков и Конрад были конкурентами. Причем, иначе, как конкуренты, они не рассматривались даже в России,

когда о сравнении себя с этими именами можно было лишь тайно мечтать. «Я не Конрад и не Набоков, меня ждет судьба лектора, возможно, издателя. Не исключено, что напишу “Божественную комедию” — но на еврейский манер, справа налево, то есть кончая адом», стенографирует мысль Бродского 1972 года его коллега и друг, Томас Венцлова. Но случилось так, что Набоков и Конрад, литературные кумиры «будущего лектора или издателя», остались позади в соревновательном забеге.

Как же оценивает эту ситуацию Бродский?

«Когда судьбами распоряжается богиня Клео, первенство достается тому, кто его заслужил», — вероятно, думал он, но мысль эту выразил иначе. Он указал на свое место *рядом* с «величайшим умом двадцатого века», сделав подобающие случаю оговорки. Но и место *рядом* могло показаться ему недостаточно близким и потребовало уточнения.

«Вы знаете, дело в том, что я иногда думаю, что я — это он (Оден. — А.П.). Разумеется, этого не надо говорить, писать, иначе меня отовсюду выгонят и запрут. Все то, что он пишет, то есть почти все из того, что мне довелось прочесть, а я пытался прочесть, моему, все, что им написано, мне чрезвычайно дорого, это мне дорого настолько, как будто это написано мной. Разумеется, это не мной написано, я в этом отдаю себе отчет, но я думаю, что если, в общем, я сложился как индивидуум — и так далее, и так далее, — то он играл в этом далеко не последнюю роль», — признавался Бродский шведскому другу, который добавил к этому признанию свои наблюдения:

«Духовное родство с Оденом привело к такому близкому отождествлению, что иногда действительно трудно установить границы между цитатами из Одена и оригинальным текстом Бродского. Бродский знал Одена наизусть, и в некоторых случаях формулы последнего вошли почти буквально в плоть его собственных произведений, сознательно или бессознательно. С годами Бродский стал походить на Одена и внешне: всегда в пиджаке и галстуке, но пиджак был мятым, а галстук висел криво — небрежная если не элегантность, то, по крайней мере, стильность, вполне подходящая пожилому университетскому преподавателю».

Став Оденом, Бродский уже не брезговал политикой и посягнул на религиозность, которую эмфатически отрицал в интервью со Свеном Биркертсом (1979). Он дал себе зарок сочинять по одному стиху к Рождеству. Ведь подобный зарок дал себе и Оден, в год рож-

дения Бродского (1940) примкнувший к англиканской общине и написавший философский стих под названием «Новогоднее письмо». Почетную обязанность поэта-лауреата Бродский отбывал в Мичиганском университете, где когда-то преподавал Оден. Одну он был обязан привычкой проводить часть года в Европе. Правда, Оден выбрал для себя итальянский остров Искья около Неаполя, в то время как Бродский облюбовал Венецию.

Как и профессор фонетики, Генри Хиггинс, Бродский видел главную притягательность Одена в безупречном владении языком. И хотя добиться того чуда, которого удалось добиться профессору Хиггинсу, Бродскому вряд ли удалось, он перенял у Одена ряд поэтических форм: овладел балладой, одой, эклогой, элегией, лимериком и даже научился продуктивно использовать клише, о чем позже.

Вот образец такого заимствования.

Я сижу в одном из шинков  
На Пятьдесят второй параллели  
Неуверенный от пинков,  
Мысль о бывших мечтах лелея  
В лжи и в бесчестья декаду:  
Гнев и страх кавалькадой  
Кружатся по планете,  
В ярком и в темном свете  
Вторгаясь в частные жизни;  
И неслыханной смерти тризной  
Оскопляют сентябрьскую ночь...

— пишет Оден в стихотворении «Первое сентября 1939 года» (*Перевод мой. — А.П.*).

Вслед за Оденом Бродский пишет так:

Вещи и люди нас  
окружают. И те,  
и эти терзают глаз.  
Лучше жить в темноте.

Я сажу на скамье,  
в парке, глядя вослед  
проходящей семье.  
Мне опротивел свет.

Это январь. Зима.  
Согласно календарю.  
Когда опротивеет тьма,  
тогда я заговорю.

Кровь моя холодна.  
Холод ее лютей  
реки, промерзшей до дна.  
Я не люблю людей.

Такие заимствования встречаются довольно часто. В частности, первые строки доклада Бродского “The Condition We call Exile” (“Состояние, которое мы называем изгнанием”) — чистый парафраз реплики Калибана из драматической поэмы Одена “The Sea and the Mirror” (“Море и зеркало”). Бродский: «Коль скоро мы собрались здесь, в этом очаровательном светлом зале, этим холодным декабрьским вечером, чтобы обсудить невзгоды писателя в изгнании, остановимся на минутку и подумаем о тех, кто совершенно естественно в этот зал не попал». Оден: «Мы бы не сидели здесь, умытые, согретые, хорошо накормленные, на местах, за которые мы заплатили, если бы не существовало других, которых здесь нет: наша веселость и хорошее настроение, есть свойства тех, кто остался в живых, тех, сознающих, что есть другие, которым не так повезло». Та же мысль Одена попала в Нобелевскую речь Бродского.

Но зрелый Бродский, вспоминая об эпизоде с Набоковым и Конрадом, создает об Одене новую легенду. «В сущности, то, что ты любишь у такого поэта, как Оден, это не стихи. Конечно же, ты помнишь, ты знаешь наизусть, ты вбираешь в себя стихотворение, но ты вбираешь его в себя, и вбираешь его в себя, и вбираешь его в себя до тех пор, пока оно не начинает занимать в тебе больше места, чем ты сам. В моем сознании и в моем сердце Оден занимает гораздо больше места, чем что-либо и кто-либо на земле», — пишет он, вроде бы воздав Одене хвалу за пределом слов. Слов для оценки

благодарности Бродского Одну не находит и исследователь Бродского Бетеа. И это понятно, ибо опыт, которым делится Бродский, есть не более чем словесный *Grande Bouffe*, то есть гурманское (наркотическое?) поглощение стихотворения: «...ты вбираешь его в себя, и вбираешь его в себя, и вбираешь его в себя до тех пор, пока оно не начинает занимать в тебе больше места, чем ты сам».

Конечно, этот гурманский и наркотический опыт мог принимать разные облики. Но с одним из них связано мое личное воспоминание. Когда-то, еще в пору далекой молодости, я заметила за Иосифом одну восхитительную черту. То есть восхитительной она казалась мне и всем, кто нас окружал: литературной богеме тогдашнего Питера. Много позднее я вспомнила об этой черте при чтении строк Одена:

Страсть признания, трусость духа  
Сотрясают квартиру, где каждое ухо  
Слышит свой голос, других же — вполуха.

*(Перевод мой. — А.П.)*

Вероятно, наблюдение Одена запало Иосифу в сердце, и он появлялся на сборищах последним, покидая их первым, причем, в самый что ни на есть разгар веселья. «Он убегает от скуки», — думала я, и думали все мы. Тогда Иосиф появлялся в нашем кругу в обществе очень привлекательной и едва ли не самой остроумной из мне известных, особы — Лорки Степановой. Не знаю, какие формы принимала их дружба, но Лорка была идеальной спутницей Бродского еще и потому, что сердце ее принадлежало другому мужчине.

«Тогда почему же все-таки он покидал веселые сборища, остроумную и очаровательную подругу, которая не могла его не интриговать своим к нему равнодушием? Нет, скукой это быть не могло... тогда чем же?»

Наряду с Бродским и чаще, чем Бродский, наши сборища посещали и другие «яркие личности»: Евгений Рейн, Анатолий Найман, Сергей Довлатов, наездами Василий Аксенов. Почему же они не порывались преждевременно уйти, а комфортабельно досиживали до позднего часа? Не потому ли, что они обладали даром, которым не обладал Бродский? Возможно, они были балагурами и умели развлекать общество, тем самым развлекая и себя? Так, значит, скука

Иосифа могла быть своего рода хитомом... А под хитоном скуки, и, если воспользоваться более расхожим словом из лексикона самого Бродского, под *маской хандры* могло скрываться нечто другое... Быть может, оскорбленные, обиженные, ущербные чувства? Быть может, он бежал тех мест, где не был первым?

Уже готовясь поставить точку над своим вымыслом, я открыла один мемуар, автор которого тоже, кажется, озадачил себя тем же вопросом.

«Бродский был стариком уже в шестидесятые, — писал мемуарист. — Уже тогда был лыс, уклончив, мудр и умел себя поставить. Создать ощущение недоступности. Как-то мы ждали его в Москве на день рождения к поэту и ученому Славе Льну на Болотниковскую улицу. Он приехал только тогда, когда мы уже перестали его ждать. Драматически вовремя, когда мы израсходовали уже все душевные силы, из темноты, из-за двери в квартиру появился он — в кепке, боком как-то — обыкновенный гений, в сопровождении компаньона, случайной личности. Кажется, это был 68-й год. Прикрывшись насмешливостью (на самом деле, по-моему, он нас боялся, пьяных, московских), он поспешно с нами поздоровался, чего-то выпил, что-то съел, съязвил по какому-то поводу, успел надерзить нескольким красавицам и удалился в “его комнату”: оказывается, он собирался тут переночевать...

Позднее, уже в Америке, я заметил, что Иосиф уходит с тусовок очень рано, всегда — как будто поставил себе за правило уходить. Я уверен, что ему не хотелось покидать людей, но он насиловал себя. Небольшой, тщательно продуманный набор привычек создавал ему пьедестал, делал его живым памятником... Я убежден, что ему хотелось поговорить, остаться, ввязаться в пьяный спор, дышать жарким потом пьяненьких юных поэтесс, дерьмовыми сигаретами, но он уходил: положение обязывало. А может, он всю жизнь боялся людей, потому и общался только с проверенными».

Наблюдательному Эдику Лимонову, а я цитировала именно его, было достаточно случайных встреч, чтобы создать шаржированный портрет поэта: «старик», живущий по правилам и вопреки желаниям: «продуманный набор привычек создавал ему пьедестал». Чтобы быть заметным, Бродский покидал сборища первым и являлся на них последним. Чтобы чем-то выделиться, он искал для себя эскорта, случайного компаньона (денщика, оруженосца, слугу, двойника?). И эта продуманность поз (масок?), отмеченная Лимоновым, прочитывается даже в тщательно выписанной мемуарной прозе.

Откроем *Watermark* (*Набережную Неисцелимых* в русском переводе).

«Таким образом, там праздновалось вхождение /хозяина/ в наследство, а также сообщение в прессе о выходе его книг о венецианском искусстве. Празднество было уже в полном разгаре, когда мы прибыли втроем — его коллега-писатель, ее сын и я. Собрание было многолюдным. Местные и почти международные знаменитости, политиканы, знать, театральная толпа, бороды и галстуки а ля Аскот, любовницы разной степени пышности, звезда велосипедист, американские ученые».

Как и Лимонов, Бродский описывает некое сборище. Лимонова интересует, конечно же, Бродский. Бродского же интересует хозяин, отмечающий свое «вступление в наследство» и выход книги, широко рекламируемой прессой. Можно сказать, эти две истории совпадают лишь в случайных деталях. Но так ли это? Хозяин для Бродского является моделью для сатирического портрета. Но разве Бродский не привлекает Лимонова тем же? Оба автора прослеживают у своих моделей несоответствие с выставляемым напоказ образом:

«... что бросалось в глаза в этом сорокалетнем — тонком, невысоком существе в сером двубортном костюме очень хорошего покроя — было то, что он выглядел больным. Кожа выказывала следы гепатита, пергаментно-желтая, или, может быть, это была всего лишь язва», — пишет Бродский, возможно, вспомнив Лимонова, когда-то увидевшего в нем самом тридцатилетнего старика. «Уже тогда был лыс, уклончив, мудр и умел себя поставить», — пишет о Бродском Лимонов.

Бродский появился на сборище только тогда, когда никого не ждали, уже не ждали в Москве и вовсе не ждали в Венеции, верен привычке появляться «драматически вовремя», т.е. когда душевный заряд гостей и хозяев уже израсходован. Он выплыл «из темноты» и в Москве, и в Венеции, и «как обыкновенный гений, в сопровождении компаньона, случайной личности».

Возможно, многих поэтов роднит желание «не позволить себе быть другим, менее заметным, менее остроумным, менее талантливым», чем ему бы этого хотелось. Продуманность взятых на себя поз и масок могла и не быть уникальным свойством Бродского. Но тогда что же было?..

